

По четыре только стопы имеют стих 44-й «В груди, и сколько в Фивах сам?» и некоторые другие (ст. 182, 238, 259, 549, 782, 1085).

Эти погрешности стихосложения не мешают, конечно, переводу г. Анненского, хотя он и не дает ничего нового, ничего самостоятельного для объяснения Еврипидовской трагедии, быть трудом почтенным и полезным и стоять выше многих переводов с греческого, явившихся у нас в последнее время, когда за это дело так часто берутся люди, не владеющие ни греческим языком, ни русским. Но, так как, по правилам о премиях А. С. Пушкина, [л. 43] переводы поэтических произведений допускаются на конкурс наравне с оригинальными сочинениями, а от оригинальных произведений изящной словесности требуется для награждения премиями высшее художественное достоинство, то — надо думать — это требование имеет силу и в отношении к переводам.

Право судить о том, может ли быть признано такое художественное достоинство за переводом, отличающимся выше отмеченными свойствами, принадлежит не мне, а Отделению русского языка и словесности.

ПФА РАН. Ф. 9. Оп. 3. Д. 12. Л. 22–43.

**Из переписки П. В. Никитина  
с вел. кн. Константином Константиновичем**

Письмо вел. кн. Константина Константиновича  
П. В. Никитину

*Павловск. 15 сентября 1910 г.*

Милый Петр Васильевич,  
обращаюсь к Вашему авторитету по части собственных имен древних греков при переводе Гетовской «Ифигении в Тавриде»<sup>3</sup>. По Вашим указаниям я перевел до сих пор Thoas=Фоант, Arkas=Аркад, Kalchas=Калхант

<sup>3</sup> [К. Р. Перевод драмы Гете «Ифигения в Тавриде» // К. Р. Стихотворения. 1900–1910. Спб., 1911. С. 87–289. Двухязычное издание снабжено пространством послесловием «Гете и его „Ифигения“» (с. 291–420), примечаниями (с. 421–474), библиографическим указателем (с. 475–480) и указателем собственных имен (с. 487–508).]

<sup>4</sup> [К. Р. строго придерживался указаний Никитина и ссылался на его авторитет в своих примечаниях. Например: Фоант. В переводах Водовозова и Яхонтова Thoas=Тоас. Ссылаясь на авторитет акад. П. В. Никитина, я придерживаюсь более правильной передачи греческих имен». (Там же. С. 421); «Аркад. Согласно указаниям акад. П. В. Никитина, я держусь более свойственной русской речи передаче греческого имени и не следую другим нашим переводчикам, которые передают Arkas=Аркас». (Там же. С. 423). Переводчик на с. 474 выразил признательность П. В. Никитину, а также Ф. Е. Коршу и Н. А. Котляревскому за их ценные указания.]

<sup>5</sup> [К. Р. опирался на два перевода драмы Гете: Водовозов В. Н. «Ифигения» Гете // Библиотека для чтения. 1856, июль; Яхонтов А. Перевод «Ифигении» // Светоч. 1860. Кн. 6.]

и т. д.<sup>4</sup> Но в литературе и критике гораздо более употребительны Тоас, Аркас, Калхас и т. п.<sup>5</sup> Не будет ли (об.) проще и привычнее для современного уха последнее написание, и не погрешу ли я против правильности передачи греческих имен, перевода их применительно к немецкому и теперь и нам более свойственному произношению?

Еще один вопрос. В одном из касающихся произведения Гете трудов Kuno Fischer'a попалось мне такое место: Das Römische Fabellbuch des Nuginus<sup>6</sup>. Как передается по-русски имя этого римского баснописца?

Простите за беспокойство (л. 38) и не осудите за обращение к Вам.

*Искренно и сердечно ваш*

*Константин*

ПФА РАН. Ф. 36. Оп. 2. Д. 36. Л. 37–38.

Письмо П. В. Никитина

вел. кн. Константину Константиновичу

*18 сентября 1910 г.*

Ваше Императорское Высочество.

Простите, что в своем длинном письме я по рассеянности позабыл ответить на один из Ваших вопросов.

Nuginus передается через Гигин. Тут так же приходится одной и той же буквой обозначать два разных звука, как при написаниях Гегель, Гюго и т. п.

*Вашего Императорского Высочества  
всепреданнейший слуга*

*Петр Никитин*

ПФА РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 33. Л. 72.

Письмо П. В. Никитина

вел. кн. Константину Константиновичу

*18 сентября 1910 г.*

[л. 73] Ваше Императорское Высочество.

Я не могу сколько-нибудь стойко возражать против Вашего намерения держаться того способа передачи греческих собственных имен, который представляется наиболее привычным, — не могу потому, что и сам не в состоянии обойтись при решении этого вопроса без компромисса. Как при всяких компромиссах, так и тут неизбежны колебания: если не решаешься принять вполне один принцип, то в каждом отдельном случае является сомнение, которому из двух или нескольких принципов отдать предпочтение

---

<sup>6</sup> [Fischer K. Goethes Iphigenie. Festvortrag gehalten in Weimar bei der dritten Generalversammlung der Goethe Gesellschaft. Heidelberg, 1900. S. 13.]

ние. И я вынужден допустить, что борьба против могущества привычки в таких вещах и безнадежна, и беспредельна. Но беда в том, что в большинстве случаев нет безошибочной меры, нет надежного способа [л. 73 об.] для определения того, какая привычка достаточно сильна. Мне и Калхас кажется лицом не настолько для нашей публики общеизвестным, что его нельзя было бы переименовать в Калханта. Но во всяком случае, называть ли его Калхас [ударение на первом слоге], как делал, сохраняя греческое ударение, Гнедич, или Кальхас [ударение на втором слоге], как Жуковский, или Калхас [ударение на втором слоге], как переводчик «Прекрасной Елены», из-за этого не должны бы, мне думается, лишаться права на правильное именование Фоант [ударение на втором слоге], Лаодамант, Аркад [ударение в обоих случаях на последнем слоге]. Выйдет непоследовательность; но ее в состоянии будут заметить только филологи, да и то не все, а только те, которые помнят, что согласно с образцами словообразования, созданными в те времена, когда греческие слова непосредственно от греков органически усвоились славянской и русской речью и сделались именами русских людей, именно таковы должны быть русские формы этих трех имен, что [л. 74] Лаодамас также неправильно, как неправильно было бы адамас вместо адамант или гигас вместо гигант. Для читателя же обыкновенного уровня Лаодамас, Аркас, Фоас или Тоас будут так же мало привычны, как и Лаодамант: ведь с этими именами и классику не часто приходится иметь дело, если не считать случаев того употребления имени Ἄρκας, при котором мы передаем его словом Аркадянин. Думаю, что обыкновенного читателя и форма Πελοπ поразит не больше, чем форма Πελοπс, с точки зрения русского преобразования греческих имен столь же неправильная, как была бы форма Киклопс, или — еще хуже — циклопс, вместо киклоп. Что касается [л. 74 об.] первого звука [фиты] в имени Фоанта, то, например, уже Яхонтов в своем переводе допустил этот звук в имя Фиеста, только выразив его посредством Ф [эф]. Если тот же переводчик пишет Эгист, а не Эгисф (или Айгисф [фита], как написал бы я), то это такая же непоследовательность, как и то, что в имени Фоанта он передает сочетание букв Th своего подлинника через T.

Если бы меркой привычности считать те привычки, которые приобретаются постоянным обращением с немецким, Гетевским оригиналом и касающейся его литературой, то, конечно, все мои предложения пришлось бы отбросить. Но, само собой разумеется, такая мера была бы неправильна: русский переводчик должен считаться с привычками и законами русской речи. А к каким нелепостям могла бы повести такая неправильная мера, показывает [л. 75] хотя бы тот же Яхонтовский перевод. В нем есть немало чудовищ, порожденных насилием немецкого подлинника над рус-

ской речью. Самое ужасное, если не ошибаюсь, находится в сочетании с двумя другими в этих двух стихах:

«Из Крета мы, Адраста сыновья,  
Я Цефал младший, он — Лаодамас».

Скоро ли простой русский читатель догадается, что «из Крета» значит «с Крита»? Тот же переводчик вместо формы Паламед употребляет форму Паламелес, впадая в такую же ошибку, какую допустил бы тот, кто святого Диомида назвал бы Диомидисом или Гомеровского Диомеда — Диомидесом.

Западные народы знали греческую древность сперва исключительно по памятникам латинской письменности, а потом преимущественно по латинским переводам памятников греческой литературы. Следом такой [л. 75 об.] истории осталась долго господствовавшая привычка употреблять для греческих имен латинские формы и даже вполне заменять имена греческой мифологии именами римской. У нас эта привычка не имела никакого смысла и оправдания, и ее не было, пока, поддавшись влиянию западной изящной и ученой литературы, мы не стали подражать ей и в том, в чем подражать совсем не следовало. Теперь, после начавшегося в Германии с конца XVIII века расцвета нового гуманизма, поставившего еллинство гораздо выше латинства, латинизация греческих имен в немецкой, по крайней мере филологической, литературе почти совершенно прекратилась, но у Гете и его современников она очень сильна. Русские его переводчики отчасти ее устраняют, но, мне кажется, слишком робко. Яхонтов уже называет Микену, а не Мицену, но сохранил ужасного для уха еллинистов Цефала; Водовозов, знавший по-гречески, ввел Кефала и соответствующие более употребительной греческой форме Микены. [л. 76] Яхонтов допустил даже один такой латинизм, которого, если не обмануло меня внимание, нет в Гетевской «Ифигении», но который, правда, очень распространен у наших переводчиков греческих текстов, например, и у Гнедича и у Жуковского. Гете, употребляющий, напр., в своей «Ахиллеиде» точную транскрипцию греческой формы Achilleus, употребил в «Ифигении» форму Achill. Водовозов употребляет Ахилл, а Яхонтов — латинскую форму Ахиллес. Правильная форма была бы Ахиллей, но и я не решился бы ее употребить по ее необычности, а употребляю Ахилл, п.ч. эта форма вдвое менее неправильна, чем Ахиллес. Если бы в греческом языке существовала форма, соответствующая латинской Achilles, то она в русском должна была бы преобразоваться в Ахилл, а Ахиллес (если не ошибаюсь, и для стиха менее удобное) так же для русского неправильна, как Демосфенес [л. 76 об.] или Сократес. Не только Яхонтов, но и Водовозов допускает латинизм Геркулес. Как ни обычна эта форма, особенно в качестве собачьей клички,

я не колеблясь заменил бы ее той, которая соответствует греческому первообразу, именно — формой Геракл. Аякс тоже латинизм; я употребляю Айант; встарину писали у нас, должно быть, Эант; но обе эти формы так сильно отличаются от укоренившегося неправильного латинизма, что на скорое вытеснение его и я не надеюсь. У Водовозова есть еще (не заметил, есть ли у Яхонтова) латинизм Эномай. Это лицо так мало известно и привычно нашей публике, что тот, кто очистил бы его от латинства, переименовав в Ойнамая, едва ли кого-нибудь огорчил бы<sup>7</sup>.

Отчасти под влиянием позднего латинского произношения, а главным образом под влиянием немцев, у которых наши учителя и профессора учились и учатся и латыни, и греческому языку, в нашем школьном преподавании [л. 77] и в литературе укоренилась привычка, часто возводимая даже в правило, звук с между двумя гласными обращать в з. От этой дурной привычки не свободны и многие наши классики, забывающие или не знающие, что наша русская традиция тех времен, когда мы учились греческому языку от самих греков, могла быть более правильной, чем традиция западноевропейская. Из-за того, что немец не способен сохранять чистоту звука с перед гласными, нам, русским, вовсе нет причины извращать таким зюканьем греческий язык, для которого оно никаких оснований не имеет. И у Яхонтова и у Водовозова является Креуза: правильная форма Креуса так мало от этой отличается, что, кажется, могла бы быть восстановлена для этой особы, нашим читателям весьма мало известной. Но за некоторыми греческими именами, сделавшимися очень употребительными в латинской литературе и под ее влиянием — в литературах западных, латинское обличие и в нашей до [л. 77 об.] того упрочилось, что едва ли уже когда-нибудь они у нас вернутся к чистоте своих греческих форм. И я не решился бы переделывать ни Феба в Фойба или Фива, ни Лету в Лифу или Лифу, ни даже Муз в Мус.

С другой стороны, мне представляется возможным и желательным устранение из перевода Гетевской трагедии таких латинизмов, которые состоят не в латинском переименовании форм греческих имен, а в употреблении латинских имен вместо греческих. Преобладание латинской струи в том классицизме, который усвоен был западными литературами, выразилось обычаем обозначать греческих богов и богинь именами тех итальянских божеств, с которыми греческие были более или менее произвольно отождествлены римлянами. Обычай до того силен, что даже очень ученые и умные из наших классиков называют подчас Цереру там, где следовало назвать Деметру. Но в сущности это такая же приблизительно несообраз-

---

<sup>7</sup> [К. Р. Перевод драмы Гете «Ифигения в Тавриде». С. 429: Ойнамай.]

ность, какую [л. 78] допустил бы тот, кто, изображая быт русских православных крестьян, заставил бы их призывать в молитвах — ну хотя бы святого Франциска. Один из таких латинизмов уже совершенно устранен прежними переводчиками: вместо имени Юпитера, для которого Гете употребляет даже латинскую форму родительного падежа (Jovis), и Яхонтов и Водовозов, вероятно, больше ради удобства стихосложения, чем по соображениям смысла, ввели повсюду, как и следовало, Зевса или Зевеса. Что тень Гете не вознегодовала бы, если бы его переводчики пошли в этом направлении и еще дальше, свидетельствует сам он, когда, часто помяная латинских Фурий, несколько раз в том же смысле употребляет греческие имена Ериний и Евменид: хорошо, если бы только Еринии (которых Яхонтов почему-то, может быть, по опечатке, переименовывает в Иринии) и остались в русском [л. 78 об.] переводе). Для обозначения подземного царства и сил его Гете употребляет латинские названия Orcus и Avernus. Сохраняют их и Яхонтов и Водовозов, хотя у последнего к слову Аверн сделано такое примечание, из которого сообразительный читатель должен увидеть всю несообразность для Ифигении и ее родичей такого обозначения, и хотя тот же Водовозов несколько раз употребил для той же цели слово Аид, вполне подходящее и чисто греческое: оно бы вместе с Гетевским Тартаром и было достаточно для всех случаев. Аид напомнил мне, что не было бы большей смелостью заменить обычный, но неправильный Ахерон Ахеронтом. Хорошо, если бы стих дозволил заменить и ложнолатинское Улисс греческим Одиссей. По всей вероятности, труднее всего было бы заставить Диану уступить место Артемиде; но порадовалось бы сердце еллинистов, если бы это удалось.

[л. 79] Отвечая на вопросы Вашего Высочества, я очень желал бы быть в положении эксперта, излагающего твердо установившийся и единогласно принимаемый взгляд представителей своей специальности. К сожалению, такого по этим вопросам не существует. Ими нынешние наши классики не интересуются, а в собственной практике следуют обыкновенно, не отдавая себе отчета и не повинаясь определенному принципу, западным образцам, то с теми, то с другими вариациями. От половины приблизительно прошлого века и до восьмидесятых годов господствовала в Петербурге школа еллинистов, пытавшаяся построить в этом отношении единообразие на принципах древних русских традиций и новогреческого произношения. Но она должна была требовать таких странных для нашего глаза и уха написаний, как Омир, Исиод, Иродот, Ира (вместо Гера), Ива (вместо Геба), Ихо (вместо Эхо) [л. 79 об.] и т. п. Пытаясь для своего употребления выработать какую-нибудь систему, я принимаю от этой Петербургской, Куторгинской школы подчинение старым русским традициям, поскольку он имеют

свое основание в свойствах русского языка, но не считаю правильным извращать древнегреческие формы усвоением им той звуковой скудости, какая явилась в новогреческом языке, хотя мирюсь с нею в тех словах, в которых она упрочена постоянным и всеобщим употреблением, т. е., говорю и пишу Афины, а не Афены или Атены, Фивы, а не Фебы или Тебы, Крит и т. п., а с другой стороны, преклоняюсь пред силой привычности и некоторых латинизмов в роде Феба. При таком сложном компромиссе, конечно, трудно быть строго последовательным.

[л. 80] Буду очень рад и польщен, если Ваше Высочество найдете возможным согласиться хоть с несколькими предложениями моего слишком длинного письма.

*Вашего Императорского Высочества  
всепреданнейший слуга  
Петр Никитин*  
ПФА РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 33. Л. 73–80.

Письмо вел. кн. Константина Константиновича  
П. В. Никитину

*9 ноября 1910 г.*

Опять прибегаю к Вашей помощи, многоуважаемый Петр Васильевич. В Гетевской «Ифигении» есть выражение *Luäens Tempel*, что значит — храм Вакха. *Düntzer* толкует, что *Luäus* одно из наименований Вакха — значит: беспечный, беззаботный, и считает словопроизводство *Luäens* едва ли правильным<sup>8</sup>.

Для моих примечаний мне нужно знать, как передать по-русски наименование *Luäus*. Не подскажите ли Вы мне это имя.

*Искренно Ваш  
Константин*  
ПФА РАН. Ф. 36. Оп. 2. Д. 54. Л. 20.

Письмо П. В. Никитина  
вел. кн. Константину Константиновичу

*10 ноября 1910 г.*

[л. 82] Ваше Императорское Высочество.

Гете имел, без сомнения, в виду то прозвище Диониса, или Вакха, которого греческая форма была *Λυαῖος*, а латинская *Luäeus*. Русская передача должна быть *Лиэй*, соответственно формам Алкей, Антей, Птолемей, которых греческие прообразы имеют то же окончание *αῖος*.

---

<sup>8</sup> [*Düntzer H. Göthes Iphigenie auf Tauris. Erläuterungen. Leipzig, 1899.*]

Как Гете мог сочинить ни с чем не сообразную форму *Lyäens*, я не понимаю. Мне не приходилось иметь дела с литературой критики текста Гетевских произведений, но я был бы очень удивлен, если бы оказалось, что никто еще не пытался объяснить *Lyäens* как опечатку или как опisku, происшедшую от слияния двух равно значащих и равно возможных написаний: *Lyäus* и *Lyaeus*.

[л. 82 об.] Греческие грамматики сближали слово *Λυαίος* с глаголом *λύειν*, который значит «развязывать», и понимали в смысле «освободитель от забот, от горя». Такое толкование и до сих пор остается господствующим. Оно довольно плохо ладит с формой объясняемого слова, но другого толкования, которое было бы и убедительно и понятно, пока еще — насколько мне известно — не найдено.

Греческие поэты нередко употребляют это прозвище и там, где такое его значение не нужно или даже было бы не кстати, — употребляют просто как удобную при известных обстоятельствах замену имен «Дионис» или «Вакх». Так, очевидно, употреблено оно и у Гете в таком контексте, где речь идет о такой страстной, напряженной возбужденности женской природы, в которой греку чудилось (л. 83) наитие Вакха<sup>9</sup>.

Очень благодарен Вашему Высочеству за доставление возможности быть в чем-нибудь Вам полезным.

*Вашего Императорского Высочества  
всепреданнейший слуга*

*Петр Никитин*

ПФА РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 33. Л. 82–83.

Письмо вел. кн. Константина Константиновича

П. В. Никитину

*Павловск. 17 ноября 1910 г.*

Милый Петр Васильевич,

еще раз и, вероятно, последний тревожу Вас вопросами, разрешение которых мне нужно для примечаний к оконченному переводу «Ифигении»<sup>10</sup>.

1) Следует ли писать фурии или Фурии, титаны или Титаны?

2) Кому из писателей античного мира принадлежит трагедия «Филок-

---

<sup>9</sup> [Объяснение Никитина вошло в Примечания К. Р.: «В подлиннике *Lyaeus Tempel*, т. е. храм Лиея. Лией — прозвище Диониса, или Вакха — значит: развязывающий, избавляющий от забот, от горя. — Оресту чудится в Ифигении вакханка. Нежный порыв сестры он принимает за страстную возбужденность женской природы, в которой видит наитие Вакха»: К. Р. Перевод драмы Гете «Ифигения в Тавриде» С. 451. Прим. к ст. 1188.]

<sup>10</sup> [Завершение работы датировано 15 ноября 1910 г.]



лет», а если такой трагедии нет, то в какой из античных пьес появляется Филоклет?

3) Как передаются по-русски латинские названия островов *Gyarus*, *Cynara* и *Seriphus*?

4) Как передать немецкое *Lemnierinnen*?

5) Как передать *Hypsipyle*?

6) Как передать имя царя Трои *Dardanos*?

*Сердечно ваш*

*Константин*

ПФА РАН. Ф. 36. Оп. 2. Д. 54. Л. 43.

Письмо П. В. Никитина

вел. кн. Константину Константиновичу

*18 ноября 1910 г.*

Ваше Императорское Высочество.

Полагаю, что для мифологических Титанов и Фурий лучше сохранить большие начальные буквы, предоставив строчные тому нарицательному употреблению этих имен, в котором они применяются к людям сверхчеловеческой энергии и к женщинам, отличающимся сверхчеловеческой злостью.

Встреченное Вами заглавие трагедии «Филоклет» есть, наверное, опечатка вместо «Филоктет». Такое заглавие имели трагедии довольно многих греческих поэтов, в том числе — Эсхила, Софокла и Еврипида; сохранилась до нашего времени только Софокловская.

*Gyarus* будет Гиар, *Cynara* — Кинара, *Seriphus* — Сериф, *Lemnierinnen* — Лемнианки, *Hypsipyle* — Гипсипила, *Dardanos* — Дардан<sup>11</sup>.

Там, где речь идет о созданиях греческой мифологии, лучше было бы (если стих не принуждает употреблять более краткую, латинскую форму) называть не Фурий, а Ериний.

*Вашего Императорского Высочества  
всепреданнейший слуга*

*Петр Никитин*

ПФА РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 33. Л. 83 а.

<sup>11</sup> [Скалистые острова Гиар, Кинара, Сериф служили у римлян местом ссылки. (Там же. С. 469). Прим. к ст. 1961; Лемнианки под предводительством Гипсипилы умертвили своих мужей и отцов, чтобы утвердить женское владычество. (Там же. С. 469). Прим. к ст. 1911.]

Письмо П. В. Никитина  
вел. кн. Константину Константиновичу

6 ноября 1905 г.

Ваше Императорское Высочество.

[л. 77] Удостойте милостиво принять искреннейшие мои поздравления с благополучным возвращением из дальнего путешествия<sup>12</sup>.

Во время Вашего отсутствия быстрая смена событий и ненадежность почтовых и телеграфных сношений неоднократно ставили меня в необходимость принимать на свой страх, не испрашивая Ваших указаний, распоряжения по более или менее важным делам, касавшимся Академии. Долгом считаю дать о них отчет.

С того времени, как в университете начали происходить публичные собрания, т. е. приблизительно с начала октября, и до первых дней ноября, в главном здании Академии и на его дворе почти каждый вечер размещались военные отряды, а иногда, особенно в первые недели, и полиция. На основании докладов смотрителя зданий Академии не могу не засвидетельствовать, что в общем эти невольные постояльцы Академии старались быть как можно менее ей в тягость. [л. 77 об.] Особенно похвальной скромностью отличались офицеры пехотных полков. Но иногда выходили некоторые затруднения. Раз поздно вечером накануне какого-то праздничного дня, на который Сергей Федорович [Ольденбург] уехал в Тверь навестить сына, смотритель телефонировал мне, что без его ведома вошли в канцелярию непременно секретаря, чтобы пользоваться стоящим там телефоном, чины полиции или гвардейские офицеры (теперь уже точно не помню). Я приказал смотрителю настоять, чтобы это помещение было немедленно очищено, так как я считаю себя не в праве распоряжаться им без непременно секретаря. Это было исполнено. Другой раз молодые офицеры конногвардейского полка начали в нашей приемной комнате довольно громкое пение, которое, впрочем, старшим офицером скоро было остановлено; тогда они устроили себе в канцелярии Правления на ее столах ужин с водкой и закуской; приглашали принять участие в ужине находившихся тут же офицеров других частей, но те отказались. Упоминаю об этих обстоятельствах не потому, чтобы серьезно считал возможным поставить их в вину молодым людям, истомленным трудной службой, а [л. 78] потому, что и такие мелочи способны усиливать предубеждение против военных людей, в некоторых кругах довольно распространенное.

Иногда академический двор весь был густо наполнен пехотой и конни-

---

<sup>12</sup> [Константин Константинович вернулся из поездки в Оренбург и Ташкент, где посещал кадетские корпуса.]

цей. Солдаты развлекались разговором, пением вполголоса и разными забавами: жильцы этого двора имели некоторое основание жаловаться на шум и беспокойство. Раз лошади разбили несколько стекол в окна подвального этажа. По крайней мере часть нашей прислуги должна была оставаться на ногах, пока войска не уходили; а это нередко случалось лишь поздно ночью. После каждого поста требовалась усиленная работа служителей и уборка двора, лестниц и других помещений. Солдаты отчасти помещались и днем, и ночью в служительских казармах, без того уже переполненных, а по крайней мере однажды остались там и ночевать: улеглись на полу под кроватями, на которых спали служители. Офицер, войдя в низкую, лишенную всякой вентиляции казарму, ужаснулся; призвал смотрителя удостовериться, что в такой духоте оставить людей нельзя, и просил отвести какое бы то ни было другое помещение. Смотритель приказал принести сена и соломы в прихожую парадной [л. 78 об.] лестницы: там на полу солдаты заснули.

Скоро академики, особенно живущие в главном здании, начали обращаться ко мне с заявлениями о необходимости требовать, чтобы полиция и войска не являлись в помещения Академии. Поводом к таким заявлениям выставлялись между прочим рассказы о том, будто в университете на публичных собраниях произносились угрозы Академии за то, что она дает приют полиции и войскам, назначенным действовать против собраний. Некоторое время я пытался всячески отклонять эти заявления, объясняя, что, когда приходится принимать меры для предупреждения вооруженного восстания, то неблагоприятно выступать с указанием на мелочные неудобства, причиняемые этими мерами нам, что военная или полицейская охрана может понадобиться самой Академии на случай попыток устроить революционное собрание в ее помещениях. Заявления становились, однако, все более и более настойчивыми. В конце концов я уступил им. Я опасался, как бы при несомненных неудобствах постоя, которому не предвиделось конца, и при известном настроении жильцов академического здания не произошло какого-нибудь столкновения между ними и воинскими частями. Еще более вероятно представлялась мне другая опасность: я ожидал (как впоследствии оказалось, не напрасно) [л. 79], что академики, не встретив никакой поддержки во мне, направят протест против распоряжений генерал-губернатора в те газеты, которые как раз в это время так неистово требовали удаления и Трепова и даже войска. Я старался придать моему вмешательству в это дело форму наиболее мягкую и, как мне казалось, наиболее удобную для власти, которой оно касалось.

15 октября я отправил Трепову конфиденциальное собственноручное письмо такого содержания: «Милостивый государь Дмитрий Федорович.

При происходящих в зданиях С.-Петербургского университета многочисленных публичных собраниях дворы, лестницы, служительские и даже канцелярские помещения зданий Имп. Академии наук, находящихся поблизости университета, занимаются отрядами полиции и войск. Правление Академии не могло не обратить внимания на то, что пребывание, иногда до поздней ночи, в академических дворах и зданиях полицейской и воинской силы неизбежно причиняет разного рода стеснения и утомительные неудобства многочисленным жильцам этих зданий, принадлежащих как к низшему, так и к высшему персоналу служащих Академии. Еще более Правление озабочено опасением, как бы, в случае столкновения вооруженной [л. 79 об.] толпы с находящимися за академической оградой отрядами, не пострадали драгоценные собрания музеев, кабинетов и архивов Академии. По этим соображениям я от имени Правления Академии честь имею покорнейше просить Ваше Превосходительство не отказать в Вашем содействии к тому, чтобы впредь размещение полицейских и военных отрядов по дворам и зданиям Академии, не обусловленное необходимостью охраны этих зданий, было избегаемо. Примите, милостивый государь, уверение в истинном моем уважении и совершенной преданности».

16 октября я получил такой ответ Директора канцелярии С.-Петербургского генерал-губернатора: «Милостивый государь П. В. Вследствие письма — имею честь по поручению генерал-губернатора уведомить Ваше Превосходительство, что генерал-губернатор не признал возможным удовлетворить Ваше ходатайство о недопущении размещения полицейских и военных отрядов по дворам и зданиям Академии. Примите» и т. д. Сущность этого ответа не могла остаться неизвестной академикам. Узнав, что они собираются протестовать, я просил не делать этого и обещал написать Витте. Мое собственноручное же письмо было такого содержания: «Как в прежние годы, при возникновении в С.-Петербургском университете студенческих волнений, так особенно часто в пору январских [л. 80] беспорядков нынешнего года и в самые последние дни — при происходящих — собраниях дворы, лестницы, подвалы, служительские и канцелярские помещения главного здания Имп. Академии наук, находящегося против университета, а в январе — и здание Зоологического музея Академии были занимаемы отрядами полиции и войск. Жильцам академического здания приходилось быть невольными очевидцами того, как во двор Академии входили и из него выходили лица, по всем признакам исполняющие работу тайных полицейских агентов. По слухам — конечно, очень неправдоподобным — в здании Академии эти лица передевались и гримировались. Правление Академии как нельзя более далеко от притязания давать какие-либо советы власти, охраняющей спокойствие города, или каким бы

то ни было вмешательством в ее распоряжения затруднять великое дело утверждения нового государственного порядка. Но Правление по долгу службы обязано в меру своего разумения отстаивать те интересы, забота о которых ему вверена. В точки зрения этих интересов Правление не могло не обратить внимания на то, что отправление в помещениях Академии таких действий, для которых существуют полицейские [л. 80. об.] участки, не соответствует назначению Академии и что пребывание иногда в продолжение целых ночей в академических дворах и зданиях полицейской и военной силы неизбежно причиняет разного рода стеснения Академии. Правление озабочено опасением, как бы в случае нападения вооруженной толпы на располагающиеся за академической оградой отряды не пострадали драгоценные научные собрания Академии. Несомненно, что руководителям толпы, собирающейся в университете, известно о том, как часто полиция и войско располагаются в зданиях Академии. Среди жильцов этих зданий упорно держится слух, что на происходящих в университете публичных собраниях заявлено было намерение бросить бомбы в главное здание Академии и в Зоологический музей. Обращаясь к Вашему Сиятельству как к высокому представителю власти, Монаршим доверием призвавшему объединять действия различных ведомств, и вместе с тем как к почетному члену Академии, имею честь от имени Правления покорнейше просить Вас не отказывать в Вашем содействии к тому, чтобы при распоряжениях по охране и водворению порядка принимались по возможности во внимание не только необходимость ограждения помещений [л. 81] Академии от вторжения толпы или от других опасений, но также и те неудобства, какие представляет для Академии размещение по ее дворам и зданиям полицейской и военной силы». — Несколько дней это письмо оставалось без ответа.

24 октября доставлен был мне проект заявления академиков, назначавшегося, по-видимому, для помещения в газетах и содержавшего в себе приблизительно следующее: «Сношения академического начальства с генерал-губернатором и с высшим правительством о снятии постоя с помещений Академии оставлены без внимания. Мы протестуем против этого насилия» и т. п. Мне объяснили, что ближайшим поводом к этому заявлению послужила заметка какой-то газеты о постоянном нахождении полиции и войск в здании Академии, и спрашивали, не присоединюсь ли я к протесту. Я письменно отвечал: «По долгу службы, по совести и по убеждению не считаю для себя возможным подписать протест. Усерднейше просил бы и высокочтимых сочленов воздержаться от него. Указание на сношения с генерал-губернатором было бы неправильно, потому что они были конфиденциальные, а на сношения с высшим правительством, пото-

му что его ответ еще не получен». В тот же день я послал графу Витте новое письмо: «Письмом, которое было помечено 18-м числом сего месяца, а [л. 81. об.] отправлено на имя Вашего Сиятельства 19-го числа, я от имени Правления Имп. Академии наук имел честь ходатайствовать пред Вами о содействии к тому, чтобы дворы и здания Академии перестали служить местом расположения полицейских и военных отрядов. Так как неполучение ответа на то письмо способно вызвать некоторое смущение в академической среде, то я в качестве исправляющего должность президента Имп. Академии наук вынужден снова обратиться к Вашему Сиятельству и покорнейше просить о возможно благоприятном ответе на предпринятое мною от имени Правления Академии ходатайство».

24-го же числа пришел такой ответ за подписью одного из чиновников канцелярии Комитета министров: «По поручению его сиятельства графа С. Ю. Витте, имею честь уведомить Ваше превосходительство, что письмо Ваше от 19 сего октября с просьбой о том, чтобы дворы и здания Академии наук перестали служить местом расположения полицейских и воинских отрядов, того же числа было отправлено господину С.-Петербургскому генерал-губернатору». 25 октября я отправил гр. Витте третье письмо: «По поручению Вашего сиятельства 24 сего октября я уведомлен, что письмо мое от 19 октября — было отправлено господину С.-Петербургскому генерал-губернатору. Вследствие этого долгом считаю объяснить, что ходатайство [л. 82] того же содержания было уже мною обращено к господину генерал-губернатору 15 октября, что господин генерал-губернатор, как о том уведомил меня директор его канцелярии — не признал возможным удовлетворить такое ходатайство, и что военные отряды по-прежнему почти ежедневно занимают главное здание Академии. Обращаясь к Вашему сиятельству, я надеялся, что, если бы благодаря Вашему содействию оказано было внимание просьбе Правления Академии, то этим предотвращено было бы возможное обнаружение недовольства академической корпорации стеснительными для нее распоряжениями. Внушаемое мне сознанием долга службы желание по мере сил и умения предупреждать в сфере моей власти возникновение осложнений, сколько бы то ни было не благоприятных для правительства, во главе которого Ваше Сиятельство поставлены, побуждает меня в третий раз обеспокоить Вас все той же просьбой».

Поздно вечером 25 октября я получил посланную 11 академиками просьбу созвать экстраординарное собрание Конференции на 26 октября для обсуждения вопроса «о занятии Академии наук войсковыми частями и полицейскими нарядами». Если бы я отклонил эту просьбу, то должен был бы ожидать, что не будет исполнена и моя просьба [л. 82 об.] воздер-

жаться от газетного протеста. Я отложил экстраординарное собрание до 27 октября. Я все еще не терял надежды, что до того времени из канцелярии графа Витте придет ответ, в котором будет обещано исполнение просьбы Академии, хотя бы обставленное теми условиями, которые я обозначил в своем письме, например, «по возможности» или «если не встретится надобности ограждать помещения самой Академии». Но никакого ответа на третье письмо я до сих пор не получил.

В экстраординарном собрании 15 голосами принято такое приблизительно постановление: так как законами не предоставлено ни генерал-губернатору, ни градоначальнику занимать воинскими частями и полицейскими нарядами частные дома или казенные здания без согласия домовладельцев или ведомств, которым здания вверены, то сообщить генерал-губернатору, что занятие помещений Академии воинскими частями и полицейскими нарядами впредь не должно быть допустимо. «Если генерал-губернатор не отменит своих распоряжений или не укажет законных для них оснований, то подать на него жалобу в Сенат». Я возражал ссылкой на закон, по которому все ведомства обязаны оказывать содействие мерам, принимаемым для охранения общественного спокойствия и государственного порядка, и предлагал вместо протеста обратиться с ходатайством через Министерство [л. 83] народного просвещения в Совет министров. К моему отдельному мнению прислушались Рыкачев и Розен. Не соглашаясь с постановлением Конференции, я заявил, что не могу взять на себя и его исполнения. Оно поручено было непременно секретарю, что согласно с §52 Устава Академии. — На второй или третий день постановление появилось в «Руси». Ольденбург безуспешно старался расследовать, кто мог сообщить документ в газету. В последние 5 или 6 дней войска и полиция не являлись в Академию.

Еще до отъезда Вашего Высочества, в Общем собрании 27 сентября Марков с обычной запальчивостью возражал против юбилейного чествования Кони и обещал сам дать для протокола письменное изложение своих возражений. В корректуре протокола я нашел такие выражения «г. Кони был почетным академиком при возмутительном случае кассации выбора г. Пешкова и не поддержал справедливого протеста гг. Чехова и Короленко». Я подчеркнул слово «возмутительном» и на полях заметил: «Надеюсь, что г. докладчик не откажется взять назад слово, которому не должно быть места в протоколах Академии». Ольденбург сообщил Маркову мое замечание, прибавив, что и сам находит желательным замену резкого эпитета другим.

Печатание протокола вследствие [л. 83 об.] забастовок замедлилось. Вчера он докладывался в корректуре. Я высказал пожелание, чтобы собра-

ние присоединилось ко мне и просило Андрея Андреевича взять назад неудобное выражение. Сразу же, конечно, выяснилось, что г. Марков не был бы Марковым, если бы уступил чьей бы то ни было просьбе. Тогда я предложил собранию, не поступит ли оно с заявлением Маркова так, как в прошлом году было поступлено с тем заявлением Федорова, которое было в протоколах упомянуто, но не было сполна напечатано. С нескольких сторон было произнесено осуждение и формы и содержания заявления Андрея Андреевича, но вместе с тем и частью теми же ораторами было высказано, что изменение или совершенное опущение сделанного академиком заявления было бы нежелательным стеснением свободы академических прений; что, если бы даже заявление составляло проступок и автор должен был бы подвергнуться за него законной ответственности, то все же он имел бы право требовать, чтобы оно было занесено в протокол в том виде, в каком было сделано. [л. 84] После этого я заявил, что остаюсь при таком отдельном мнении: «Подчиняясь всем постановлениям Общего собрания Академии, изложенным в протоколе экстраординарного заседания 27 сентября 1905 года, я не нахожу возможным подписать этот протокол, так как в нем, в статье 194, там, где говорится о кассации выборов г. Пешкова, употреблено такое выражение, которое, по моему мнению, не должно быть употребляемо в протоколах Академии наук». К этому мнению присоединились Латышев и Розен. Возможно, что спор еще возобновится в декабрьском заседании, где протокол будет предложен к подписанию.

Несмотря на эти разногласия, личные отношения ко мне сочленов сохраняли характер миролюбивый, а частью — даже со стороны некоторых из протестантов — и дружественный. Вопросы о преобразовании Академии в духе автономии не поднимались; думаю, что и не поднимется, если нервность общего настроения от каких-нибудь причин не усилится.

*С чувством глубочайшего высокопочитания  
и беспредельной преданности  
имею честь быть*

*Вашего Императорского Высочества  
всепреданнейший слуга*

*Петр Никитин*

ПФА РАН. Ф. 6. Оп. 1. Д. 27. Л. 77–84.